

Глава XXV

Было мучительно тяжело возвращаться к жизни. Проведя последние недели в постоянном напряжении, я забыла, что мне вновь предстоит борьба за существование. Теперь это было вдвойне необходимо: я искала забвения. Наше движение потеряло для меня всякую привлекательность, и многие его приверженцы вызывали у меня отвращение. Они трясли анархизмом, словно красной тряпкой перед быком, но убегали в укрытие при первой же атаке. Я больше не могла с ними работать. Но кроме того мучительными были и терзающие сомнения в принципах, в которые я так горячо верила. Нет, я не могла оставаться в движении. Сначала мне нужно было разобраться в себе. Единственным утешением, казалось, могла бы стать напряжённая работа по моей специальности: она заполнит пустоту и заставит всё забыть.

Мне пришлось скрывать, кто я на самом деле, и взять себе вымышленное имя, поскольку ни один домовладелец не хотел сдавать мне комнату, да и большинство моих прежних товарищей и друзей оказались ничуть не более смелыми. Эта ситуация навевала воспоминания о 1892 годе, о ночах, проведённых на Томпкинс-сквер или в поездках в конках до Гарлема и обратно к Бэттери, а потом о жизни с девушками в доме на 4-й улице. Я терпела такую жизнь, но не опускалась до смены имени. Тогда я думала, что поддаться распространённым предрассудкам было бы слабовольно и непоследовательно. Некоторые из тех, кто теперь отвергал Чолгоша, хвалили меня за бескомпромиссность. Всё это больше не имело для меня значения. Борьба и разочарование последних двенадцати лет научили меня, что последовательность — черта преходящая. Как будто это важно, каким именем ты назовёшься, если можешь сохранять верность своим принципам. Действительно, я возьму себе другое имя — самое распространённое и безобидное, которое только можно придумать. Я стала мисс Э. Г. Смит.

Больше у домовладельцев возражений не было. Я сняла квартиру на 1-й улице; Егор и его приятель Дэн переехали ко мне, мебель мы купили в рассрочку. Затем я отправилась известить своих докторов о том, что с этих пор меня нужно советовать как Э. Г. Смит.

К концу своей прогулки я получила ещё одно доказательство того, что стала изгоем. Несколько докторов, к которым я зашла, те люди, которые знали меня годами и которые всегда были довольны моей работой, были в бешенстве от того, что я посмела к ним обратиться. Я что, добиваюсь того, чтобы их имена попали в газеты или чтобы у них начались проблемы с полицией? За мной следят власти. Как я могла ожидать, что меня будут рекомендовать? Доктор Уайт был более человечным. Он успокоил меня, что никогда не верил историям, связывающим меня с Чолгошом, ведь был уверен, что я была неспособна на убийство. И всё же он не мог устроить меня в свой кабинет. «Смит — достаточно обычное имя, — сказал он. — Но как ты думаешь, сколько потребуется времени, чтобы тебя разоблачить? Я не могу так рисковать, это может меня разорить». Однако он был готов помочь любым другим способом, например деньгами. Я поблагодарила его и продолжила

поиски работы.

Я посетила доктора Юлиуса Хоффмана и доктора Золотарёва. Они хотя бы не изменили своего отношения ко мне и стремились найти мне работу. К сожалению, мой хороший друг Золотарёв страдал болезнью сердца и был вынужден оставить практику за пределами кабинета. Его пациентам редко нужны были медсёстры, но он обещал поговорить с другими докторами с Ист-Сайда. Дорогой, верный товарищ! С того самого момента, как двенадцать лет назад я, впервые приехав в Нью-Йорк, преодолела шесть пролётов лестницы до его квартиры, он ни разу меня не подвёл.

Стало очевидно, что мои перспективы были не очень светлыми. Я знала, что придётся отчаянно бороться, чтобы поднять целину, и была решительно настроена начать всё сначала. Я не буду покорно преклоняться перед силами, которые пытаются меня сломить. «Я должна, я буду жить дальше, ради Саши и своего брата, которые нуждаются во мне», — говорила я себе.

Саша! Я ничего не получала от него почти два месяца, да и сама не имела возможности написать: находясь под арестом, я не могла свободно изъясняться, а последний месяц был слишком мрачным и гнетущим. Я была уверена, что из всех людей только мой Саша поймёт общественное значение выстрела в Буффало, что он оценит принципиальность Чолгоша. Милый Саша! С того момента, когда неожиданно сократили его тюремный срок, он сильно воодушевился. «Осталось всего пять лет! — писал он в последнем письме. — Только подумай, дорогая подруга, всего пять лет!» Наконец увидеть его на свободе, родившимся заново; чем были мои трудности в сравнении с этой минутой? Именно с надеждой увидеть его я продолжала путь вперёд. Иногда меня вызывали поработать, временами подворачивались заказы на платья.

Я редко выходила в люди. Мы не могли позволить себе концерты или театры, и мне ужасно не хотелось появляться на публичных собраниях. Последнее из них, сразу после моего возвращения из Чикаго, едва не закончилось беспорядками. Я отправилась послушать своего старого друга Эрнеста Кросби, который выступал в Либеральном клубе Манхэттена. Я ходила на их еженедельные собрания с 1894 года, часто участвовала в обсуждениях, там меня все знали. В тот последний раз, едва войдя в зал, я почувствовала враждебную атмосферу. Казалось, что за исключением Кросби и ещё нескольких человек, абсолютно всей публике не нравилось моё присутствие. По окончании лекции, когда люди выходили из зала, один мужчина крикнул: «Эмма Гольдман, ты убийца, и пятьдесят миллионов человек знают об этом!» Уже через мгновение я оказалась окружена возбуждённой толпой, кричащей: «Ты убийца!» Некоторые голоса звучали в мою защиту, но они утонули в общем шуме. Столкновение было неизбежно. Я встала на стул и крикнула: «Вы говорите, пятьдесят миллионов людей знают, что Эмма Гольдман — убийца. Поскольку население Соединённых Штатов намного больше этой цифры, то многие, должно быть, хотели бы получить информацию, прежде чем бросаться безответственными обвинениями. Иметь дурака в семье — трагедия, но иметь пятьдесят миллионов маньяков в стране — это самая настоящая катастрофа. Как порядочным американцам вам стоит отказаться от пополнения их рядов».

Кто-то засмеялся, другие подхватили, и вскоре публика снова была в хорошем настроении. Но я ушла полная отвращения, с намерением держаться подальше от собраний и от людей вообще. Я виделась только с некоторыми друзьями, которые приходили к нам домой, и иногда навещала Юстуса.

Юстус был против моего приезда в Нью-Йорк. Даже сейчас он боялся за мою безопасность; он считал, что меня всё ещё могут схватить и отвезти в Буффало, и настаивал на том, чтобы у меня появился телохранитель. Было лестно видеть его таким озабоченным, и я старалась развеселить его. Его старые друзья, в том числе Эд и Клаус, часто собирались у него дома, чтобы его развлечь. Мы все знали, что с каждым днём смерть подкрадывается всё ближе и вскоре он нас покинет.

Однажды рано утром Эд позвонил мне и сообщил, что конец настал. Меня попросили быть в числе выступающих на похоронах Юстуса, но я решила отказаться. Я знала, что не смогу выразить словами всё то, что он значил в моей жизни. Борец за свободу, покровитель труда, апологет радости жизни — Юстус обладал всеобъемлющей способностью к дружбе и настоящим даром щедро и красиво откликаться на просьбы о помощи. Он всегда мало говорил о своей прекрасной жизни и деятельности. Для меня было бы вероломством петь ему дифирамбы на базарной площади. Огромная толпа людей из разных слоёв общества, проследовавшая за его останками до крематория, демонстрировала глубокую привязанность и большое уважение, которое Юстус вызывал во всех, кто его знал.

Потеря Юстуса усугубила мою и без того серую жизнь. Узкий круг друзей, которые раньше встречались у него, теперь рассеялся; я всё больше закрывалась в четырёх стенах. Борьба за средства к существованию стала ещё более суровой. Золотарёв, вновь заболевший, не мог помочь мне с работой; доктор Хоффман уехал из города. Мне опять пришлось брать сдельную работу на фабрике. Я продвинулась в ремесле и теперь шила яркие шёлковые халаты. Многочисленные оборки, ленты и кружева требовали скрупулёзности, которая терзала мои расшатанные нервы так сильно, что хотелось кричать. Единственным светлым лучом в этом однообразии, которым стала моя жизнь, был мой дорогой брат и его приятель Дэн.

Егор привёл его, когда я ещё жила в своей маленькой комнате на Клинтон-стрит. Дэн с самого начала мне понравился, и я знала, что его тоже ко мне сильно тянет. Мне было тридцать два, а ему только девятнадцать; он был наивным и неиспорченным. Он смеялся над моими опасениями по поводу разницы в возрасте, говорил, что ему не нравятся молодые девушки, ведь они в большинстве своём глупые и им нечего ему дать. Он считал, что я была моложе их и намного мудрее. Он хотел быть только со мной.

Его умоляющий голос был для меня словно музыка, и всё же я не могла успокоиться. Одной из причин того, что в мае я уехала в тур, была надежда убежать от своей растущей привязанности к мальчику. В июле, когда мы все встретились в Рочестере, ураган, который я подавляла в себе так долго, вырвался наружу и захватил нас обоих. Потом случилась трагедия в Буффало и последующие ужасы. Я снова закрылась. Любовь казалась фарсом в этом мире ненависти. С тех пор, как мы переселились в нашу маленькую квартиру, мы стали много времени проводить вместе, и любовь вновь подала свой настойчивый голос. Я

ответила. Это заставило меня забыть другие голоса — моего идеала, моих убеждений, моей работы. Мысль о лекции или митинге становилась для меня невыносимой. Даже концерты и театры потеряли свою привлекательность из-за моего выросшего почти до одержимости страха встречаться с людьми или быть узнанной. Меня охватило уныние, появилось ощущение, будто моё существование потеряло смысл и лишилось содержания.

Жизнь тянулась дальше со своими ежедневными заботами и тревогами. Пока что самой большой из них было сообщение о состоянии Саши. Друзья из Питтсбурга написали, что его снова преследует тюремная администрация, а его здоровье ухудшается. Наконец, 31 декабря, от него пришло письмо. Для меня не могло быть лучшего новогоднего подарка. Егор знал, что я люблю быть одна в таких случаях, и предусмотрительно вышел на цыпочках из комнаты.

Я прижалась губами к драгоценному конверту, только через какое-то время я смогла дрожащими руками открыть письмо. Это было длинное подпольное послание, датированное 20 декабря и написанное на нескольких клочках бумаги очень мелким почерком, которому обучился Саша. Каждое слово было выведено отчётливо и ясно.

«Я знаю, как, должно быть, на тебя повлияло свидание и моё странное поведение, — писал он. — Возможность увидеть твоё лицо спустя все эти годы полностью лишила меня присутствия духа. Я не мог думать, не мог говорить. Будто все мои мечты о свободе, весь мир живых сосредоточился в блестящей маленькой побрякушке, которая висела на твоей цепочке для часов. Я не мог оторвать глаз от неё, я не мог удержаться, чтобы не теревить её. Она проглотила всё моё существо. И хотя я чувствовал, как ты нервничала из-за моего молчания, я не мог произнести ни слова».

Ужасные месяцы, последовавшие за этим свиданием с Сашей, затмили силу моего разочарования той встречей. Эти строки вновь разбередили душу.

Письмо показывало, насколько внимательно Саша следил за событиями. «Если пресса отражает настроения людей, — продолжал он, — то народ, должно быть, внезапно вернулся к каннибализму. Были моменты, когда я смертельно боялся за твою жизнь и безопасность других арестованных товарищей... Твоё горделивое чувство собственного достоинства и восхитительное самообладание очень повлияли на удачный исход ситуации. Я был особенно тронут твоим замечанием, что ты бы выхаживала раненого, если бы ему понадобились твои услуги, но этот бедный мальчишка, осуждённый и покинутый всеми, нуждался и заслуживал твоего расположения и помощи больше, нежели сам президент. Это замечание ещё внушительнее твоих писем открыло мне глаза на великую перемену, которую вызвали в нас все эти годы зрелости. Да, в нас обоих, поскольку моё сердце вторило твоим прекрасным словам. Насколько невозможной была подобная мысль для нас ещё десять лет назад! Мы бы сочли это предательством духа революции; даже признать человечность официального представителя капитализма для нас было бы чем-то невообразимым. Разве не примечательно, что мы двое — ты, живущая в самом сердце анархической мысли и действия, и я, в атмосфере абсолютного подавления и изоляции, — пришли к одной и той же точке эволюции спустя десять лет с тех пор, как наши пути разошлись?»

Дорогой, прекрасный друг — как великодушно и смело с его стороны было так честно признать эту перемену! Чем больше я читала, тем больше поражалась объёму знаний, которые Саша накопил за время заключения. Научные, философские, экономические, даже метафизические работы — он, очевидно, прочитал огромное их количество, критично осмыслил, изучил и усвоил. Его письмо вызвало сотни воспоминаний из прошлого о нашей общей жизни, нашей любви, нашей деятельности. Я потерялась в воспоминаниях; время и пространство испарились, прошедшие годы стёрлись, и я вновь вернулась в прошлое. Руки ласкали письмо, глаза мечтательно бродили по строкам. Вдруг мой взгляд выхватил слово «Леон», и я продолжила читать внимательнее:

«Я читал о прекрасной личности этого молодого человека, о его неспособности адаптироваться к жестоким условиям и о его протестующей душе. Это проливает ясный свет на причины аттентата. Действительно, это одновременно и величайшая трагедия мученичества, и наиболее ужасный приговор общества, который заставляет лучших мужчин и женщин проливать кровь человека, несмотря на то, что их души восстают против этого. И тем более необходимо, чтобы к решительным действиям подобного характера прибегали только в качестве крайней меры. Чтобы быть оправданными, они должны мотивироваться социальной, а не индивидуальной необходимостью, и быть направлены против прямого и непосредственного врага народа. Значение подобного действия понятно народу, и только в этом лежит пропагандистская, воспитательная функция аттентата, кроме тех случаев, когда это просто акт терроризма».

Письмо выпало из рук. Что имел в виду Саша? Он подразумевает, что Мак-Кинли не был «непосредственным врагом народа»? Не являлся подходящим объектом для аттентата с «пропагандистской, воспитательной» точки зрения? Я была ошеломлена. Правильно ли я прочитала? Там был ещё один абзац:

«Я не считаю, что поступок Леона носил террористический характер, и сомневаюсь, был ли он воспитательным, поскольку социальная необходимость для его исполнения не была очевидной. Чтобы ты правильно поняла, я повторю ещё раз: как выражение личного протеста — этот поступок был неизбежен, и сам по себе являлся осуждением социальных условий. Но предпосылки социальной необходимости отсутствовали, и поэтому значение поступка было по большей части сведено на нет».

Письмо упало на пол; я не могла пошевелиться. Станным, сухим голосом я закричала: «Егор! Егор!»

Брат вбежал в комнату. «Что случилось, дорогая? Ты вся дрожишь. Что такое?» — взволнованно кричал он. «Письмо! — прошептала я охрипшим голосом. — Прочти его, скажи мне, что я не сошла с ума». «Прекрасное письмо, — услышала я его голос. — Понятный, человеческий текст, хотя Саша не видит социальной необходимости в поступке Чолгоша».

«Но как Саша мог? — рыдала я в отчаянии. — Он, из всех людей в мире сам неправильно понятый и отвергнутый теми же рабочими, которым хотел помочь, как может он так заблуждаться?»

Егор старался успокоить меня, объяснить, что Саша имел в виду под «необходимыми социальными предпосылками». Он поднял другой обрывок письма, начал читать:

«Схема политического подчинения слабо выражена в Америке. Хотя Мак-Кинли был главным действующим лицом в модели нашего современного рабства, его нельзя было рассматривать в качестве прямого и непосредственного врага народа. При абсолютизме автократ очевиден и реален. Настоящий деспотизм республиканских учреждений намного более глубок и коварен, поскольку он основан на популярном заблуждении о самоуправлении и независимости. Это источник демократической тирании, и как таковой его нельзя сразить пулей. В современном капитализме главный враг народа — это экономическая эксплуатация, а не политическое угнетение. Политика не что иное, как её служанка. Поэтому борьбу нужно вести в сфере экономики, а не политики. Именно поэтому я считаю свой поступок намного более значительным и воспитательным, чем действие Леона. Мой был направлен против осязаемого, реального угнетателя, представляемого таковым людьми».

Внезапно меня пронзила мысль: Саша использует те же аргументы против Леона, что Иоганн Мост использовал против Саши. Мост заявил о бессмысленности индивидуальных актов насилия в стране, лишённой пролетарского сознания, и указывал на то, что американский рабочий не понимает мотивы подобных поступков. Не меньше меня Саша в то время считал Моста предателем нашего дела, а также своих собственных взглядов. Я жестоко сражалась с Мостом из-за этого — с Мостом, который был моим учителем, моим великим вдохновением. А сейчас Саша, всё ещё приверженец актов насилия, отрицает «социальную необходимость» в поступке Леона.

Какой жестокий, абсурдный фарс! Мне казалось, что я потеряла Сашу. Я разразилась безудержными рыданиями.

Вечером за мной зашёл Эд. Несколько дней назад мы договорились вместе отпраздновать Новый год, но я была слишком разбита, чтобы идти. Егор уговаривал меня, настаивая, что это меня отвлечёт. Но я была потрясена до основания. Когда наступил Новый год, я лежала в постели.

Доктор Хоффман вновь лечил миссис Спенсер, и меня позвали выхаживать её. Эта работа ещё раз убедила меня в том, что следует вернуться к прежней жизни. Я занималась своими будничными делами почти бессознательно, по привычке, и всё время размышляла о Саше. Я повторяла себе, что с его стороны было странным самообманом считать свой поступок более значимым, чем поступок Леона. Неужели годы одиночного заключения и страданий заставили его думать, что его поступок был больше понят людьми, чем акт Чолгоша? Возможно, ему это служило своеобразной опорой все эти ужасные годы в тюрьме. Да, несомненно, именно это помогало ему выживать. И всё же казалось невероятным, что человек его ясности мысли и умения рассуждать может быть так слеп в отношении значимости политического поступка Леона.

Я несколько раз написала Саше, указывая на то, что анархизм направляет свои силы не только против экономической несправедливости, но что он также затрагивает и

несправедливость политическую. Его ответы только подчёркивали глубокую разницу в наших взглядах. Они лишь усугубили мои страдания и заставили осознать бессмысленность продолжения дискуссии. В отчаянии я прекратила писать.

После смерти Мак-Кинли кампания против анархизма и его последователей продолжилась с возросшей озлобленностью. Пресса, духовенство и другие выразители публичного мнения неистово соперничали друг с другом в силе своей ярости против общего врага. Наиболее беспощадным был Теодор Рузвельт, новоиспечённый президент Соединённых Штатов. Как вице-президент он сменил Мак-Кинли на президентском троне. Ирония судьбы руками Чолгоша проложила путь к власти герою сражения на холме Сан-Хуан¹. В знак благодарности за эту невольную услугу Рузвельт рассвирепел. Его послание Конгрессу, нацеленное главным образом против анархизма, было на самом деле смертельным ударом по социальной и политической свободе в Соединённых Штатах.

Антианархистские законы принимались один за другим, их авторы, сидящие в Конгрессе, были заняты выдумыванием новых способов истребления анархистов. Сенатор Хоули, очевидно, не считал, что одной его государственной мудрости хватит для уничтожения анархического дракона. Он публично заявил, что даст по тысяче долларов каждому, кто выстрелит в анархиста. Это было жалкой подачкой по сравнению с ценой, которую заплатил за свой выстрел Чолгош.

Я с горечью понимала, что ответственными за такое развитие событий были главным образом американские радикалы, поджавшие хвост в тот момент, когда мужество и отвага были так нужны. Неудивительно, что реакционеры так бесстыже требовали деспотичных мер. Они ощущали себя полными хозяевами ситуации в стране, а организованная оппозиция едва ли существовала. Закон о преступной анархии², быстро прошедший через законодательную палату Нью-Йорка, и подобный акт, принятый в Нью-Джерси, помог мне укрепиться в мысли, что наше движение в Соединённых Штатах дорого платит за свою непоследовательность.

Постепенно в наших рядах стали появляться знаки пробуждения: зазвучали голоса неодобрения, направленные против надвигающейся для американских свобод опасности. Но у меня было чувство, что психологический момент упущен; уже ничего нельзя было сделать, чтобы сдержать прилив реакции. В то же время я не могла просто смириться с этой ужасной ситуацией. Безумная толпа, жаждущая нашей смерти, вызывала во мне негодование. И всё же я не двигалась с места и не была способна делать что-либо, кроме как мучить себя бесконечными зачем и почему.

Вдобавок к этой мрачной ситуации нам приказали убраться из квартиры, потому что хозяин каким-то образом узнал, кто я такая. С большими трудностями мы нашли жильё в самом сердце гетто, на Маркет-стрит, на пятом этаже перенаселённого многоквартирного дома. Домовладельцы Ист-Сайда привыкли к тому, что у них живут разного рода радикалы. К тому же новое место было дешевле и имело преимущество в виде светлых комнат. Было утомительно несколько раз в день подниматься так высоко, но это было лучше, чем слышать топот жильцов над головой. Ортодоксальные евреи слишком буквально воспринимают слова Иеговы, особенно его завет размножаться. В доме в каждой семье было

не меньше пяти детей, а в некоторых — восемь и даже десять. Несмотря на свою любовь к детям, я не смогла бы долго оставаться в квартире, слыша постоянный топот маленьких ножек над головой.

Моему хорошему другу Золотарёву удалось убедить нескольких докторов Ист-Сайда дать мне работу. Их пациенты — евреи и итальянцы — были главным образом из беднейших семей; обычно жильём им служили квартиры из двух-трёх комнат на шесть и более человек. Их доход составлял примерно пятнадцать долларов в неделю, а профессиональной медсестре нужно было платить по четыре доллара в день. Для них сёстры были роскошью, к которой они прибегали только в случаях очень серьёзной болезни. Уход в таких условиях был чрезвычайно трудным делом. Я была вынуждена поддерживать стандартную плату. Я не могла оказывать услуги за более низкую цену, и поэтому мне приходилось искать другие способы помочь этим бедным людям, кроме как просто заботиться об их болеющих родных.

Я почти всегда работала в ночную смену, потому что не многие медсёстры хотели брать ночные вызовы, а я предпочитала именно их. Присутствие родственников и их постоянное вмешательство, много разговоров и рыданий, а самое главное — их страх перед свежим воздухом превращали дневные смены в пытку. «Ах ты вредина! — однажды отругала меня пожилая женщина, когда я отрыла окно в комнате больного. — Ты хочешь убить моего ребёнка?» Но ночью отсутствие родственников будто развязывало мне руки, и я могла давать своим пациентам необходимое внимание. С книгой и большим кофейником, который я себе заваривала, ночные часы пролетали быстро.

Хотя я не отказывалась никогда ни от одного вызова, невзирая на природу болезни, всё же я предпочитала выхаживать детей. Они так трогательно беспомощны, когда больны, они так благодарно откликаются на терпение и доброту.

Работа под вымышленным именем принесла мне много забавных впечатлений. Однажды знакомый молодой социалист вызвал меня ухаживать за своей матерью. Он предупредил, что у неё двустороннее воспаление лёгких, что она полная женщина и с ней очень тяжело справиться. Я уже собиралась пойти с этим парнем, но заметила, что он как-то мнётся, будто хочет мне что-то сказать, но не знает как. «Что такое?» — спросила я. Он признался, что его мать была очень враждебно ко мне настроена во время паники вокруг Мак-Кинли, она даже говорила: «Если бы я заполучила эту женщину, я бы искупала её в керосине и сожгла заживо». Он хотел, чтобы я это знала, прежде чем браться за дело. «Очень благородно с её стороны, — сказала я, — но в нынешнем состоянии она едва ли сможет выполнить свою угрозу». Мой молодой социалист был очень впечатлен моим ответом.

Спустя три недели борьбы нашей пациентке удалось обмануть даму с косой. Она достаточно поправилась, чтобы обходиться без ночной сестры, и я собиралась уходить. К моему удивлению молодой социалист заявил, что его мать хочет заменить дневную медсестру мной. «Мисс Смит прекрасная медсестра», — сказала она сыну. «Ты знаешь, кто она на самом деле? — спросил он. — Это ужасная Эмма Гольдман!» «Боже мой! — вскричала мать. — Надеюсь, ты не рассказывал ей, что я говорила о ней раньше». Парень ответил, что всё мне передал. «И она так хорошо обо мне заботилась? Что за чудесная медсестра!»

С наступлением тёплой погоды количество моих пациентов снизилось. Я не жалела об этом, так как очень устала и нуждалась в отдыхе. Я хотела больше читать и проводить время с Дэном, Егором и Эдом. Милое и гармоничное товарищество с последним заменило бурные эмоции прошлого. Наше расставание оказало на Эда значительное влияние, сделало его более терпимым и мудрым, более понимающим. Он находил утешение в своей малышке и чтении. Наши интеллектуальные отношения никогда не были такими мотивирующими и приятными.

У меня было всё, чего могло пожелать человеческое существо, и всё же в голове моей царил хаос, а в сердце нарастала тоска. Я жаждала вновь заняться борьбой, чтобы моя жизнь снова стала чем-то большим, нежели обычной вереницей личных интересов. Но как вернуться, откуда начать? Мне казалось, что я сожгла за собой все мосты, что я никогда не смогу заполнить пробел, который стал таким огромным после тех ужасных дней в Буффало.

Однажды утром ко мне зашёл молодой английский анархист Уильям Мак-Квин. Я познакомилась с ним во время своего первого тура по Англии в 1895 году; он организовывал мне митинги в Лидс и принял меня в своём доме. Я также видела его несколько раз с тех пор, как он приехал в Америку. Теперь он пришёл пригласить меня выступить в Патерсоне в защиту забастовки ткачей. Мак-Квин и австрийский анархист Рудольф Гроссман собирались выступить на массовом митинге, и бастующие попросили пригласить меня.

Впервые с момента трагедии Чолгоша ко мне обращались рабочие или хотя бы мои товарищи. Я ухватилась за эту возможность, как странник в пустыне бросается к колодцу.

В ночь перед митингом мне приснился кошмар, от которого я с криками проснулась. Егор прибежал к моей кровати. В холодном поту, трясаясь всем телом, я рассказала брату всё, что запомнила из своего тягостного сна.

Мне снилось, будто я в Патерсоне. Огромный зал переполнен людьми, я стою на сцене. Я подхожу к краю и начинаю говорить. Мне кажется, что меня уносит море людей, стоящих у моих ног. Волны поднимаются и ниспадают в унисон с интонацией моего голоса. Вдруг они начинают уплывать от меня, быстрее и быстрее, увлекая людей вместе с собой. Я осталась на сцене, в одиночестве, голос угас в тишине, которая меня окружала. Я одна, но не совсем. Что-то волнуется, принимает форму, растёт у меня перед глазами. Я стою напряжённая, затаив дыхание в ожидании. Фигура приближается, подходит к самому краю сцены, держится прямо, голова запрокинута, большие глаза уставились на меня. Слова застряли у меня в горле, и с огромным усилием я кричу: «Чолгош! Леон Чолгош!»

Меня охватил страх, что я не смогу выступить на митинге в Патерсоне. Напрасно старалась я избавиться от чувства, что лицо Чолгоша появится из толпы, как только я ступлю на сцену. Я написала Мак-Квину телеграмму, что не приеду.

На следующий день газеты разнесли новости об аресте Мак-Квина и Гроссмана. Меня ужасало, что я позволила сну остановить себя перед просьбой бастующих. Я позволила себе испугаться привидения и остаться дома, в безопасности, когда над моими молодыми товарищами нависла угроза. «Будет ли трагедия Чолгоша преследовать меня до конца

дней?» — спрашивала я себя. Ответ последовал раньше, чем я ожидала.

«Кровавые беспорядки. — Рабочие и крестьяне убиты. — Студентов отстегали казаки...» Газеты были наполнены событиями, происходящими в России. Снова борьба против царизма завоевала мировое внимание. Ужасная жестокость с одной стороны, славное мужество и героизм с другой, вырвали меня из летаргического сна, который сковал мою волю после событий в Буффало. Я ясно осознала и ругала себя за то, что оставила движение в самый критичный момент, повернулась спиной к нашей работе тогда, когда была нужна больше всего, что я даже начала сомневаться в своей вере и идеале. И всё это из-за горстки людей, которые оказались подлыми и трусливыми.

Я старалась оправдать своё малодушие глубоким сочувствием к покинутому парню. Я доказывала себе, что гнев против этих слабовольных людей проявился из-за моего сопереживания Чолгошу. Несомненно, оно стало первым мотивом для формирования моей позиции — настолько сильным, что я даже была настроена против Саши, так как он не смог увидеть в поступке Чолгоша то, что для меня было очевидным. Моя обида распространилась на дорогого друга и заставила забыть, что он в тюрьме и всё ещё во мне нуждается.

Однако теперь другая мысль пульсировала в моём мозгу, мысль, что, возможно, были и другие мотивы, и эти мотивы не настолько бескорыстны, как я заставила думать себя и окружающих. Моя неспособность встретиться с первым большим препятствием в жизни показала мне, что самоуверенность, с высоты которой я всегда заявляла, что смогу одна вынести все невзгоды, покинула меня в тот момент, когда меня позвали сделать доброе дело. Я оказалась неспособной вынести возможность быть отверженной и изгнанной; я не смогла смело встретить поражение. Но вместо того, чтобы признаться в этом хотя бы самой себе, я продолжала бить себя в грудь в слепой ярости. Я озлобилась и ушла в себя.

Качеств, которые больше всего восторгали меня в героях прошлого и в Чолгоше, как и силы выстоять и умереть в одиночку, у меня не было. Возможно, кому-то нужно больше мужества, чтобы жить, чем чтобы умереть. Смерть мгновенна, а притязания жизни бесконечны — тысяча маленьких и ничтожных вещей, которые испытывают твои силы и оставляют слишком истощённым, чтобы достойно встретить час испытаний.

Будто от тяжёлой болезни, я пробудилась от своего мучительного самокопания — ещё не такая энергичная, как раньше, но полная решимости ещё раз закалить волю, чтобы встретить злободневные проблемы, какими бы они ни оказались.

Моим первым неуверенным шагом после месяцев душевной смерти стало письмо Саше.

Новости из России вовлекли радикалов Ист-Сайда в напряжённую деятельность. Члены профсоюзов, социалисты и анархисты отложили свои политические разногласия, чтобы максимально помочь жертвам российского режима. Проводились массовые митинги, для людей, находящихся в тюрьмах и ссылке, собирались средства. Я взялась за работу с новыми силами. Я полностью перестала заниматься уходом за больными, чтобы беззаветно посвятить себя помощи России. В то же время и в Америке происходило достаточно, чтобы вымотать нас.

Шахтёры бастовали. Условия в регионах угледобычи были ужасными, там требовалась срочная помощь. Политики из рабочего движения занимались раздачей интервью газетам и мало делали для самих бастующих. Твёрдость характера, которую они показали в начале забастовки, испарилась, когда на горизонте появился человек с Большой Дубинкой. Президент Рузвельт внезапно проявил интерес к шахтёрам. Он заявил, что поможет бастующим, если их представители будут разумными и дадут ему возможность подвергнуть преследованиям владельцев шахт. Это была манна небесная для политиканов из профсоюзов. Они сразу же переложили груз ответственности на президентские плечи Тедди. Не нужно больше волноваться; его государственная мудрость поможет найти правильное решение гнетущих проблем. В это время шахтёры и их семьи голодали, а полиция избивала тех, кто приехал в угольный регион побуждать шахтёров к действиям.

Радикалы отказывались быть одураченными интересами президента, не было у них и большой веры в неожиданное изменение настроев владельцев. Они непрестанно работали, собирая средства и поддерживая дух рабочих. Атмосфера была слишком накалена, чтобы проводить митинги, что означало снижение нашей активности. И всё же нам удавалось вести пропаганду в профсоюзах, проводить пикники и организовывать другие мероприятия по сбору денег. Возвращение к общественной деятельности оживило меня и подарило новый интерес в жизни.

Меня попросили поехать в лекционный тур с целью сбора денег для шахтёров и жертв репрессий в России. Однако планировали мы всё это, не принимая во внимание настрой власти в бастующих регионах. Нашим людям не удавалось занять ни один зал; в редких случаях, когда владелец оказывался достаточно смелым, чтобы сдать нам помещение, наши мероприятия срывала полиция. В нескольких городах, среди которых были Уилкс-Барре и Мак-Киспорт, на вокзале меня встречали хранители закона и разворачивали обратно. Наконец, было решено, что мне следует сосредоточить свои силы на больших городах бастующих регионов. Здесь я не столкнулась с препятствиями, пока не доехала до Чикаго.

Моя первая лекция там была связана с Россией и проходила в переполненном зале в Вест-Сайде. Полиция, как обычно, присутствовала, но не вмешивалась. «Мы верим в свободу слова, — сказал один из чиновников нашему комитету, — при условии, что Эмма Гольдман будет говорить о России». К счастью, моя работа в пользу шахтёров велась почти исключительно в профсоюзах, и уж там полиция ничего не могла поделать.

Моя последняя лекция должна была пройти в Философском обществе Чикаго, в организации со свободной трибуной. Их еженедельные собрания всегда проводились в Хандель-Холл, с которым у общества был долгосрочный договор аренды. Владельцы места никогда не выступали против ораторов или их речей, но в воскресенье, когда было запланировано моё выступление, в Хандель-Холл людей не пустили. Привратник, бледный и дрожащий от страха, заявил, что его хотят видеть детективы. Они рассказали ему о Законе о преступной анархии, по которому его могли арестовать, посадить в тюрьму и дать штраф, если он разрешит Эмме Гольдман выступать. Оказалось, что никакой такой закон не был принят в Иллинойсе, но разве это что-то значило? Тем не менее я прочитала запрещённую лекцию. Другой владелец зала, лучше осведомлённый о своих законных правах и которого было не так просто запугать, разрешил мне выступить с опасной темой «Философские аспекты

анархизма».

Мой тур был утомительным и напряжённым, что было обусловлено необходимостью менять залы в последний момент и выступать в окружении сторожевых псов, готовых наброситься на меня в любую минуту. Но я с радостью принимала трудности. Они помогли разжечь мой боевой дух и убедили меня в том, что власть имущие никогда не поймут, что преследование является плодородной почвой для революционного запала.

Едва я приехала домой, как пришла новость о смерти Кейт Остин. Кейт — самый смелый, отважный голос среди женщин Америки! Поднявшаяся со дна бедноты, она достигла таких интеллектуальных высот, которых не могли себе представить многие образованные люди. Она любила жизнь, и её душа была обогревающим пламенем для угнетённых, страждущих и бедных. Как великолепно она была на протяжении трагедии в Буффало! Ещё месяц назад она написала пылкое воздаяние Чолгошу из тени собственной смерти. А теперь её нет, и с ней ушла одна из по-настоящему великих личностей в наших рядах. Её смерть стала для меня потерей не только соратницы, но и дорогой подруги. Кроме Эммы Ли она была единственной женщиной, которая сблизилась со мной и понимала многогранность моей натуры лучше меня самой. Её чуткий отклик помог мне пережить много тяжёлых минут. Теперь она была мертва, и на сердце у меня было тяжело.

В такой сумбурной жизни, как моя, радости и горести сменяют друг друга очень быстро, не остаётся времени, чтобы подолгу задерживаться на тех или других. Моя скорбь по Кейт была ещё сильна, когда случилось очередное потрясение. В Вольтарину де Клер стрелял и сильно ранил бывший ученик. В телеграмме из Филадельфии сообщалось, что она в больнице в критическом состоянии, а также предлагалось собрать деньги ей на лечение.

Я мало виделась с Вольтариной с момента нашей неудачной попытки достичь взаимопонимания в 1894 году. Я слышала, что ей нездоровилось и она отправилась лечиться в Европу. Во время моей последней поездки в Филадельфию я узнала, что она напряжённо старалась заработать на жизнь, обучая английскому языку еврейских иммигрантов и давая уроки музыки, но в то же время оставаясь активной участницей движения. Я восхищалась её энергией и усердием, но меня ранило и отталкивало то, что её отношение ко мне казалось неразумным и унижительным. Я её не разыскивала, и она тоже не общалась со мной все эти годы. Её бесстрашная позиция во время истерии вокруг Мак-Кинли придавала ей уважения в моих глазах, а письмо, напечатанное в Free Society и адресованное сенатору Хоули, который сказал, что даст тысячу долларов за выстрел в анархиста, произвело на меня неизгладимое впечатление. Она послала свой адрес сенатскому патриоту и написала, что готова предоставить ему возможность выстрелить в анархистку без всяких последствий с тем лишь единственным условием, что перед выстрелом он позволит ей объяснить ему принципы анархизма.

«Мы должны сейчас же начать сбор денег для Вольтарины», — сказала я Эду. Я знала, что ей не понравится публичный призыв ради неё, и Эд согласился с тем, что по этому делу нужно обратиться к нашим друзьям. Золотарёв, первый, кого мы посетили, сразу откликнулся, хотя был нездоров и работа в кабинете приносила небольшие деньги. Он предложил обратиться к Гордону, бывшему любовнику Вольтарины; тот стал успешным

врачом и был способен финансово помочь Вольтарине, которая столько для него сделала. Золотарёв вызвался поговорить с Гордоном.

Результаты нашей агитации были очень воодушевляющими, хотя мы также натолкнулись и на неприветливое отношение. Один ист-сайдский друг Вольтарины заявил, что не верит в «частную благотворительность»; кроме него были и другие люди, чья доброжелательность была ослаблена материальным успехом. Но благородные души восполнили этот недостаток, и вскоре мы собрали пятьсот долларов. Эд поехал с деньгами в Филадельфию. По возвращении он сообщил, что две пули были извлечены. К третьей было невозможно подобраться, поскольку она находилась слишком близко к сердцу. Эд сказал, что Вольтарина больше всего волновалась о парне, который совершил покушение на её жизнь, и уже объявила, что не собирается заявлять на него в суд.

Макс с Милли собирались приехать в Нью-Йорк на Рождество, и это обстоятельство оказалось неожиданным и радостным подарком. Эд уже давно уговаривал меня позволить ему воплотить в жизнь свою давнюю мечту «одеть меня поприличнее». Он настаивал, что пришло время выполнить это обещание; я должна была пойти с ним в лучшие магазины и отпустить свою фантазию в свободный полёт.

Зайдя в модный торговый центр, я поняла, что неограниченная фантазия — дорогое удовольствие, а мне не хотелось обанкротить Эда. «Бежим отсюда скорее, — прошептала я, — это место не для нас». «Бежим? Эмма Гольдман бежит? — издевался Эд. — Ты останешься до тех пор, пока с тебя не снимут мерки, а остальное доверь мне».

В канун Рождества в мою квартиру начали приходить посылки: прекрасное пальто с барашковым воротником, муфта и шляпа без полей в тон. Были там ещё и платье, шёлковое бельё, чулки и перчатки. Я чувствовала себя Золушкой. Эд просиял, когда зашёл и обнаружил меня наряженной. «Вот какой я тебя всегда хотел видеть! — воскликнул он. — Однажды у всех будет возможность иметь подобные вещи».

Макс и Милли уже ждали нас в Хофбрау Хаус. Милли тоже была одета по случаю, а Макс пребывал в отменном настроении. Он спросил, не женилась ли я на Рокфеллере или открыла золотую жилу. Он смеялся, что я слишком шикарно выгляжу для пролетария вроде него. «Такие шмотки заслуживают минимум три бутылки „Трабахера“3!» — кричал он, тут же их заказывая. Мы были самой весёлой компанией на празднике.

Милли уехала в Чикаго без Макса. Он задержался на несколько дней, и мы проводили время за длинными прогулками, посещением галерей и концертов. В вечер отъезда я провожала Макса на вокзал. Пока мы стояли на платформе и разговаривали, к нам приблизились двое мужчин, которые оказались детективами. Они арестовали нас и отвели в полицейский участок, где подвергли перекрёстному допросу, а затем отпустили. «На каком основании нас арестовали?» — я требовала объяснений. «На общих основаниях», — любезно ответил дежурный. «Ваши основания насквозь прогнили!» — гневно отрезала я. «Да ну! — заревел он. — Ты Красная Эмма, так ведь? Этого достаточно».

